

Горький Максим На соли

– Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдёшь работу. Всегда найдёшь... Потому как дело это каторжное, отчаянное дело, долго на нём не настоишь. Бегут оттуда люди... не дюжат! Вот ты и повози денёк. По семь копеек с тачки дадут, чай... На день-то ничего, хватит.

Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолично замурлыкал в бороду себе какую-то песню. Я сидел с ним в тени от стены куреня; он чинил холщовые шаровары, зевал и медленно цедил сквозь зубы разные печальные сентенции о недостатке на земле работы для людей и о том, как много надо человеку положить труда в поисках за возможностью найти труд.

– Коли не дюжишь... приходи сюда отдыхать... Расскажешь... Тут недалеко, вёрст пяток... Да... Вот поди-ка!

Я распрощался с ним, поблагодарил его за указание и отправился берегом «на соль». Было жаркое августовское утро, небо было чисто и ясно, море ласково и пустынно, и на прибрежный песок одна за другой с грустным плеском вбегали зеленоватые волны. Впереди меня, далеко в голубой знойной мгле на жёлтом берегу лежали белые пятна, – то Очаков; сзади – курень утопал за буграми ярко-жёлтого песка, сильно оттенённого аквамариновой водой моря...

Я очень много наслушался в курене, где ночевал, разных глубокомысленно нелепых историй и суждений и был настроен минорно. Волны звучали в унисон настроению и усиливали его.

Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли, сажень по двести, окопанные низенькими валами и обведённые узкими канавками, представляли три фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком, пластом. В другом – она сгребалась в кучки. Сгребавшие её женщины, с лопатами в руках, по колена топтались в блестящей чёрной грязи, и как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на чёрном, блестящем фоне жирной, солёной и едкой «рапы», как называют эту грязь. Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погубели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперёд. Колёса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращённых к нему. А оно изливало нестерпимый, палящий зной, раскаливший серую, потрескавшуюся землю, кое-где покрытую красно-бурой солончаковой травой и мелкими, ослепительно сверкавшими кристаллами соли. Из монотонного визга тачечных колёс грубой и резкой нотой выделялся басистый голос кладчика, солоно ругавшего рабочих-возчиков, ссыпавших из тачек к его ногам соль, которую он, поливая водой из ведра, выкладывал в продолговатую пирамиду. Стоя на высокой куче соли и размахивая в воздухе лопатой, кладчик, – высокого роста, чёрный, как уголь, мужчина, в синей рубахе и белых широких шароварах, – во всё горло командовал ввозившим по доске вверх тачечникам:

– Сыпь налево! Налево сыпь, дьявол лохматый! Ах ты, пострели тебя в стантовую жилу! Кол тебе в глаз! Куда ты прёшь?! куда?! Ах ты, чёртов ноготь!..

Затем раздражённо вытирал потное лицо подолом рубахи, озлобленно ухал и принимался, ни на минуту не переставая сквернословить, выравнивать соль, изо всей мочи стучая по ней лопатой. Рабочие автоматически ввозили тачки кверху, так же автоматически опрокидывали их по команде «направо! налево!» и, с усилием расправляя спины, тяжёлым, колеблющимся шагом, волоча сзади себя тачки, скрипевшие тише и более устало, шли по дрожавшим и вязнувшим в чёрном жирном иле доскам снова за солью.

– Возись проворней, черти! – покрикивал им в зад кладчик.

Но они возились так же молчаливо-пришибленно, и только их хмурые, усталые и

истомлённые, покрытые грязью и потом лица, с плотно сжатыми губами, порой зло и раздражённо подёргивались. Иногда колесо тачки съезжало с доски и вязло в грязи; передние тачки уезжали, задние вставали, и двигающая их сила, в лице отрёпанных и грязных босяков, тупо и безучастно посматривала на товарища, старавшегося поднять и поставить колесо шестнадцатипудовой тачки снова на доску.

А с безоблачного, подёрнутого знойным туманом неба жаркое южное солнце всё с большим усердием раскаливало землю, точно ему непременно сегодня и во что бы то ни стало нужно было убедить её в своём жарком внимании к ней.

Посмотрев, стоя в стороне, на всё это, я решил попытать счастья и, приняв возможно более независимый вид, подошёл к доске, по которой рабочие шли с опорожнёнными тачками.

– Здравствуйте, братцы! Помогай бог!

В ответ получилось нечто совершенно для меня неожиданное. Первый, – седой, здоровый старик, с засученными по колена штанами и по плечи рукавами рубахи, обнажавшими бронзовое, жилистое тело, – ничего не слышал и, не сделав ни движения в мою сторону, прошёл мимо. Второй, – русский молодой парень, с серыми злыми глазами, – зло посмотрел на меня и скорчил мне рожу, крепко ругнув вдобавок. Третий, – очевидно, грек, чёрный, как жук, и кудрявый, – поравнявшись со мной, выразил сожаление о том, что у него заняты руки и что он не может поздороваться своим кулаком с моим носом. Это у него вышло как-то не подобающе желанию равнодушно. Четвёртый насмешливо крикнул во всё горло: «Здравствуй, стеклянные зенки!» и сделал попытку лягнуть меня ногой.

Этот приём был как раз тем, что в культурном обществе, если не ошибаюсь, называется «нелюбезным приёмом», и этого никогда не случалось со мной в такой резкой форме. Обескураженный, я невольно снял очки и, сунув их в карман, двинулся к кладке, намереваясь спросить у кладчика, – нельзя ли поработать. До места кладки ещё не успел подойти, как он окрикнул меня:

– Эй, ты! Чего тебе? Работы, что ли?

Я сказал.

– А ты на тачках работаешь?

Я сказал, что, мол, возил землю.

– Землю? Не годится! Земля – совсем другое дело. Здесь соль возят, а не землю. Пшёл к свиньям на хутор! Ну, ты, кикимора, вали прямо на ноги!

Кикимора, – оборванный сивый геркулес, с длинными усами и сизым прыщеватым носом, – ухнул во всю грудь и опрокинул тачку. Соль посыпалась. Кикимора ругнулся, кладчик переругнул его. Оба довольно улыбнулись, и оба же сразу обратили на меня своё внимание.

– Ну, чего ж тебе? – спросил кладчик.

– А ты, кацапе, мабудь вареники исті до соли прійшов? – подмигивая ему, говорил Кикимора.

Я стал просить кладчика принять меня на работу, уверяя его, что я привыкну и что стану возить не хуже других.

– Ну, здесь прежде, чем привыкнешь, хребет себе вывихнешь. Да ин бог с тобой, ступай! Первый день больше полтины не положу. Эй! дайте ему тачку!

Откуда-то вынырнул малый в одной рубахе, с голыми ногами, перевязанными до колен грязными тряпками, скептически посмотрел на меня и сквозь зубы проговорил:

– Ну, иди!

Я пошёл за ним к груде тачек, наваленных друг на друга, и, подойдя, стал выбирать себе полегче. Малый чесал себе ноги и молча осматривал меня.

– Чего ты взял-то? Али не видишь, – у ней колесо кривое, – проговорил он, когда я, облюбовав себе тачку, взял было её, – и, равнодушно отойдя в сторону, он лёг на землю.

Я, выбрав другую тачку, стал в ряд и пошёл за солью, чувствуя, как какое-то неопределённое, тяжёлое чувство давит меня, не позволяя мне заговорить с товарищами по

работе. На всех физиономиях, несмотря на усталость, искажавшую их, ясно выразилось глухое, пока ещё скрываемое раздражение. Все были измучены и обозлены на солнце, беспощадно сжигавшее кожу, на доски, колебавшиеся под колёсами тачек, на «рапу», этот скверный, жирный и солёный ил, перемешанный с острыми кристаллами, царапавшими ноги и потом разъедавшими царапины в большие мокнущие раны, – на всё окружавшее их. Эта злоба была видна по косым взглядам друг на друга, по забористым, ядовитым ругательствам, изредка вырывавшимся из воспалённых жаждою глоток. На меня никто не обращал внимания. Только входя в квадрат и расходясь с тачками по крестообразно разложенным доскам к кучкам соли, я почувствовал удар по ноге сзади и, обернувшись, получил прямо в лицо злое восклицание:

– Подбирай пятки, длинный чёрт!

Я поспешно подобрал пятки и, поставив тачку, стал лопатой насыпать в неё соль.

– Полней насыпай! – скомандовал мне геркулес-хохол, стоявший рядом со мной.

Я насыпал, как мог, полно. В это время задние скомандовали передним: «Вези!»

Те поплевали на руки и, кряхтя, двинули тачки, снова сгибаясь чуть не под прямым углом, и, выдвинув корпуса вперёд, как-то странно вытянули шеи, как будто бы это должно было облегчить труд.

Заметив все эти приемы, я точно так же елико возможно согнулся и вытянулся вперёд; приподнял тачку, – колесо пронзительно завизжало, кости ключиц заныли, напряжённые до последней возможности руки задрожали... я, шатаюсь, сделал шаг, два, – меня мотнуло влево, потом вправо, дёрнуло вперёд... колесо тачки съехало с доски, и я полетел в грязь прямо лицом. Тачка назидательно стукнула меня по затылку ручкой и потом лениво повернулась вверх дном. Оглушительный свист, крик, хохот, приветствовавшие моё падение, точно ещё больше забивали меня в тёплую жирную грязь, и, барахтаясь в ней, тщетно пытаюсь поднять увязшую тачку, я чувствовал, как что-то холодное и острое режет мне грудь.

– Эй, друже, а ну – помоги! – обратился я к хохлу-соседу, хохотавшему во всё горло, взявшись за живот и покачиваясь из стороны в сторону.

– О, трясца твоей матери!.. Тю-тю-тю, дурню?.. Выдыбай на доску! Карету-то гни налево! Тю!.. А щоб тобі рапа засосала!.. – и он снова грохотал со слезами на глазах, хватаясь за бока и охая.

– Пошёл, чёрт, по брёвнам!.. – сокрушённо махнул рукой, глядя на меня, передний седой старик и, крякнув, повёз тачку.

Передние тачечники уехали; те, что были сзади меня, стояли и довольно недоброжелательно смотрели на меня, вспотевшего от усилий вытащить тачку и покрытого толстым слоем грязи, стекавшей с меня. Помочь никто не хотел. А с кладки доносился голос кладчика:

– Что застряли, дьяволы? Собаки!.. свиньи!.. Аль дальше с глаз – дольше день?! Лешие!.. черти!.. Вези, анафемы!..

– Прочь с дороги! – гаркнул хохол сзади меня и двинул тачку, чуть-чуть не задев меня по голове её крылом.

Я остался один, кое-как вытащил тачку и, так как соль из неё высыпалась и она была вся облеплена грязью, повёз её, пустую, вон из квадрата, намереваясь выбрать себе другую.

– Что, брат, упал? Ничего, спервоначалу это со всяким бывает!

Оглянувшись в сторону, я увидел за одной из кучек соли на положенной в грязь доске парня лет двадцати, присевшего на корточки и сосавшего себе ладонь. Он смотрел на меня из-за руки добрыми, улыбающимися глазами и кивал мне головой.

– Ничего, брат! Это с непривычки бывает.

– Что у тебя с рукой-то? – спросил я.

– Да вон сцарапал, а рану-то разъедает; не высосешь, так бросай работу, болеть будет здорово! Вали, вали, поезжай, а то кладчик заругает!

Я поехал. Со второй тачкой у меня сошло благополучно; вывез и третью, и четвёртую,

и ещё две. На меня никто не обращал внимания, и я был очень доволен этим вообще очень грустным для человека обстоятельством.

– Шабаш! Обедать! – прокричал кто-то.

Все, облегчённо вздохнув, пошли обедать; но и тут никто не проявил ни оживления, ни радости отдыха. Всё делалось как-то подневольно, с худо скрытым отвращением и злобой. Казалось, никто не видел в отдыхе ничего приятного для своих наломанных работой костей и разморённых зноем мускулов. У меня сильно ныла спина, ноги и руки в плечах, но, стараясь не давать другим заметить этого, я бодро пошёл к котлу.

– погоди! – остановил меня старый угрюмый босяк-рабочий, в синей рваной блузе и с таким же, под цвет блузе, синим запойным лицом, украшенным хмуро сдвинутыми густыми бровями, из-под которых дико и насмешливо сверкали красные, воспалённые глаза. – погоди! Тебя как зовут?

Я сказал.

– Так! Дурак был твой отец, коли дал тебе такое имя. У нас к котлу Максимов не пускают в первый день работы. Максимы первый день на своих харчах работают.

Так-то! Вот кабы ты Иван был или ещё как – другое дело. Меня вот Матвеем зовут, – ну – я и пообедаю, а Максим пусть посмотрит. Пшёл от котла!

Я удивлённо посмотрел на него и, отойдя в сторону, сел на землю. Меня сбивало с толку такое отношение ко мне, отношение, мной не вызванное и до сих пор не испытанное.

Раньше и позднее мне случалось не один десяток раз входить в артель, и всегда я сразу вставал на простую товарищескую ногу. На этот раз всё было как-то невероятно странно, и, несмотря на тяжесть и остроту моего положения, моё любопытство было затронуто очень глубоко. Я решил поискать ключа к этой высоко интересной для меня загадке и, решив, наружно спокойно посматривая на обедавших, стал ждать начала работы...

Нужно узнать, почему ко мне так относятся.

II

Вот они пообедали, порыгали и стали закуривать, расходясь от котла. Геркулес-хохол и малый с перевязанными ногами подошли ко мне и сели так, что загородили собой от меня ряд тачек, оставленных на доске.

– Ну что, братику? – спросил хохол. – Покурить хочешь?

– Давай! – сказал я.

– А разве у тебя нет своего табака?

– А был бы, так я бы и не спросил.

– Ото верно! На, покури. – Он подал мне свою трубку. – Что ж ты, будешь возить?

– Да, буду, пока могу.

– Так! А ты откуда сам?

Я сказал.

– Эге! А что, это далеко?

– Тысячи три вёрст.

– Ого! Добре далеко. А чего ж ты сюда пришёл?

– Да как и ты же, всё равно.

– Ага! Так тебя, значит, тоже за воровство из твоей деревни выгнали?

– Как так? – спросил я, чувствуя, что сел в лужу.

– Да я потому пришёл сюда, что меня за воровство деревня вон выгнала, а ты говоришь, что пришёл, как и я же... – И он захохотал, довольный своей ловкостью.

Его товарищ сидел молча и подмигивал ему глазом, хитро улыбаясь.

– погоди... – начал я.

– Некогда годить-то, братику! – работать надо. Пойдём-ка, становись сзади меня на мою тачку; у меня хорошая, верная тачка. Пойдём!

Мы пошли. Я хотел было взять его тачку, но он торопливо сказал:

– Погоди, я сам отвезу. Давай твою, а мою в неё положим, она прокатится, отдохнёт немного.

Эта любезность показалась мне подозрительной, и, идя рядом с ним, я пытливо рассматривал лежавшую кверху колесом его тачку, желая убедить себя, что мне не подстроено какой-нибудь каверзы, но не усмотрел ничего, кроме того, что я вдруг сделался предметом общего внимания, почему-то скрываемого, но неумело; я ясно замечал его в частых подмигиваниях в мою сторону, в кивках головой и в подозрительном перешёптывании. Я понял, что нужно смотреть в оба, и насторожился в ожидании чего-то, что должно быть, судя по началу, очень оригинально.

– Приехали! – сказал хохол и, сняв свою тачку, поставил её мне. – Насыпай, брат!

Я посмотрел кругом... Все усердно работали, и я стал насыпать. Ничего не было слышно, кроме шороха соли, сбрасываемой с лопат, и эта тишина тяжело давила грудь. Я подумал, что мне, пожалуй, лучше уйти отсюда.

– Ну, берись! Чего заснули?! Вези! – скомандовал синий Матвей.

Я взял за ручки тачку и, с усилием приподняв её, двинул вперёд... Острая боль в ладонях заставила меня дико вскрикнуть и, бросив тачку, рвануть руки к себе.

Боль повторилась, но вдвое сильнее: я сорвал с ладоней обеих рук кожу, защемлённую в ручках тачки. Скрипя зубами от злобы и боли, я осмотрел ручки и увидел, что они были с боков расколоты топором и распёрты щепочками. Это было сделано очень незаметно и очень умно. Рассчитывалось, что когда я сильно сожму ручки, щепки выскочат из щели, и дерево, сомкнувшись, защемит мне кожу. И этот расчёт оправдался. Я поднял голову и посмотрел кругом. Крики, хохот и свист летели мне в лицо со всех сторон, везде я видел злые, торжествующие рожи. С кладки доносилась циничная ругань кладчика, но никто не обращал на неё внимания, – все были заняты мной. Я смотрел кругом тупо и бессмысленно и чувствовал, как внутри меня всё сильнее вскипает обида, желание мести и ненависти к этим людям. А они, собравшись толпой против меня, сыпали насмешки и ругательства. Мне страшно, до боли страшно захотелось оскорбить и унизить их.

– Мерзавцы! – вскричал я, протягивая к ним сжатые кулаки, и так же цинично, как ругали они меня, стал ругать их, идя к ним навстречу.

Они как будто дрогнули и, смутившись, подались назад. Только геркулес-хохол и синий Матвей, оставаясь на месте, хладнокровно стали засучивать рукава рубах.

– А ну, иди, иди!., а ну, ну!.. – тихо и радостно бормотал хохол, не сводя с меня глаз.

– Дай ему тютю, Гаврила! – советовал ему Матвей.

– За что вы меня обидели?! – кричал я. – Что я вам сделал?!. За что?!. Разве я не такой же, как вы, человек?!. – Кричал ещё какие-то жалкие, нелепые, злые, бессмысленные слова и весь дрожал дрожью бессмысленного бешенства, в то же время зорко следя, как бы не совершили надо мной ещё какой-либо остроумной выходки.

Но глупые, бессмысленные физиономии смотрели на меня уже не так безучастно, и по некоторым из них скользнуло как бы сознание вины передо мной за эту злую шутку.

Хохол и Матвей тоже подвинулись назад. Матвей стал одёргивать блузу, хохол полез в карман.

– Ну, за что же? За что?!. – спрашивал я их.

Они тупо молчали. Хохол вертел сигарку и смотрел себе в ноги. Матвей вдруг очутился сзади всех; остальные пошли было к своим тачкам, угрюмо почёсываясь и не говоря ни слова. К группе шёл кладчик, громко крича и грозя кулаками. Всё это произошло так быстро, что бабы, огребавшие соль шагах в двадцати от нас и, как я заметил, бросившиеся на мой крик, подошли уже тогда, когда ребята стали расходиться к тачкам.

Я оставался один, с горьким чувством незаслуженной и неоплаченной обиды, Это усиливало обиду и боль. Мне хотелось ответа на мои вопросы, хотелось возмездия. Я крикнул им:

– Стойте, братцы!

Они остановились, хмуро глядя на меня.

– Скажите же мне, за что вы меня мучили? Ведь должна же быть у вас совесть!

Они молчали, и это молчание как бы отвечало мне за них. Тогда, немного успокоившись, я начал говорить им. Я начал с того, что я такой же человек, как и они, что мне так же хочется есть, что для этого я так же должен работать, что я пришёл к ним, как к своим, родным мне по положению людям, что я считал их не ниже и не хуже себя...

– Все мы равны, – говорил я им, – и должны понимать друг друга и, поскольку это каждый умеет, помогать друг другу.

Они внимательно слушали, толпясь вокруг меня, но избегая моих взглядов.

Я замечал, что мои слова действуют на них, и это вдохновляло меня. Взглянув кругом, я ещё более убедился в этом. Чувство радости, острой и яркой, охватило меня, и, бросившись на кучу соли, я заплакал. Заплачешь!..

Когда я поднял голову, кругом не было никого. Работать кончили, и возчики, разбившись на группы по пять-шесть человек, сидели там, около кладки, рисуясь на розоватом фоне соли, освещённой лучами заходившего солнца, большими, неуклюжими, грязными пятнами. Было тихо. С моря веяло прохладой. По небу плавно двигалось маленькое белое облачко; от него отрывались тонкие, прозрачные дымки и исчезали, расплываясь по голубому фону неба. Это было очень грустно...

Я встал и пошёл туда, к кладке, с твёрдым намерением проститься и уйти в рыбацкий курень. Когда я подошёл к группе из хохла, Матвея, кладчика и ещё троих солидных пожилых босяков, они поднялись ко мне навстречу, и, прежде чем я успел заговорить с ними, Матвей протянул ко мне руку и сказал, не глядя на меня:

– Вот что, друг! Ты пойдёшь от нас своей дорогой, куда тебе надо. Да! А на дорогу мы вот собрали тебе малость грошей. На-ка, возьми!

В его горсти лежали медяки, и рука его дрожала, когда он протягивал её мне.

Я растерялся и, ничего не понимая, смотрел на них. Они стояли, понуро опустив головы и молча, ненужно и нелепо оправляя свои отрепья, одёргивались, переминались с ноги на ногу, поглядывали по сторонам, всем, каждым движением и жестом, выражая крайнее смущение и желание кончить скорее со мной.

– Я не возьму! – сказал я, отталкивая руку Матвея.

– Нет, уж ты возьми, не обижай нас. Мы что ж? Мы ведь, коли по совести говорить, ничего такого... Мы, брат, понимаем, что обидели тебя; но только разве это верно, коли рассудить правильно? Совсем, брат, неверно. Потому главная причина – жизнь!

Какая жизнь наша? Каторжная! Тачка – шестнадцать пуд, рапа ноги рвёт, солнце палит тебя, как огнём, целый день, а день – полтина! – Али этого мало, чтобы озвереть?

Работаешь, работаешь, заработок пропьёшь – опять работаешь! вот и всё. И как годов с пять проживёшь этим манером, так и того... облик человеческий и утратишь, – зверюга, да и шабаш! Мы, брат, сами себя ещё больней обижаем, чем тебя, а мы всё ж ведь друг друга знаем, ты же – чужой человек... Чего тебя жалеть-то? Так вот так-то! Говорил ты там... разное, ну-к что ж? Оно, конечно, это ты там ловко всё... правильно, надо быть... только не к разу... не в строй. Ты не обижайся... шутки ведь... Всё-таки у нас сердце... Д-да! Ну, и иди себе, куда хочешь, с твоей правдой, а мы останемся здесь с своей. Возьми на, гроши-то! Прощай, брат! Мы пред тобой не виноваты, и ты пред нами – тоже. Плохо вышло у нас, это верно. Ну, да ладно! Хорошее-то не про нас. А оставаться тебе здесь не рука. Какая ты нам... пара? Мы, брат, друг к другу пристроены вот как, а ты так себе привалился... слегка... Ничего у нас не может выйти... Ну, значит, и отчаливай! Вали своей дорогой!.. Прощай!

Я посмотрел кругом, убедился, что все согласны с Матвеем, и, вскинув на плечи котомку, хотел идти.

– Погоди, человеке! Дай и я скажу слово! – остановил меня за плечо хохол.

– Коли б кто другой, а не ты это был, так я бы проводил его кулаком в боки. Чуешь?

А ты вот идёшь себе свободно, да ещё и гроши на дорогу мы тебе давали. Говори спасибо за то нам! – И он, плюнув в сторону, стал вертеть кисет вокруг пальца, победоносно поглядывая вокруг, точно хотел сказать: дивуйтесь-де, какой я умный!

Подавленный всем этим, я поторопился проститься с ними и пошёл берегом моря назад к куреню, в котором ночевал. Небо было чисто и знойно, море пустынно и важно, к ногам моим, шумя, катились зелёные волны... И мне было невыносимо больно и стыдно за что-то. Медленно и убито шагал я по горячему песку берега. Море спокойно блестело на солнце, волны толковали о чём-то непонятном и грустном...

Когда я подошёл к куреню, мне навстречу встал знакомый рыбак и торжествующим тоном человека, предположения которого оказались верны, произнёс:

– Что, брат, али солоно пришлось?

Я промолчал, взглянув на него.

– Ишь ты! Пересолено малость! – уверенно произнёс он, оглядев меня. – Есть хошь? Иди, ешь кашицу! Там её до чёрта наварили... половина, поди-ка, осталась.

Иди, дуй на ложку! Ха-арошая кашица... с камбалой, с севрюгой...

Минуты через две я сидел в тени за куренём, весь грязный, очень утомлённый, очень голодный, и ел, с тоской и болью в сердце, кашицу с севрюгой и камбалой.